

Общая гад. - 1996 - 30 мая. - с 10

Май жестокий с белыми ночами!..



ПРОЧЕЛ Блока лет в пятнадцать. Шла война. На Тишинском рынке я купил хрестоматию для 10-го класса, пролистал Брюсова — совсем не понравился, а за Брюсовым шел Блок:

«Свирель запела на мосту / И яблоки в цвету, / И ангел поднял в высоту / Звезду зеленую одну...»

Эти строки в первую минуту меня не взволновали. Я уже знал наизусть почти всего Маяковского и всего Есенина, привык к точности и определенности и, проглядев по диагонали блоковскую подборку, захлопнул хрестоматию. Но вскоре вернулся к Блоку, как ни странно, роман «Тихий Дон». В нем сотник Листницкий шепчет жене однополчанина:

«И странной близостью закovanýн, / Гляжу за темную вуаль — / И вижу берег очарованный / И очарованную даль...»

Несколько дней меня мучило, откуда я знаю эти строки, но наконец вспомнил, отыскал хрестоматию, перечел блоковскую подборку уже другими глазами, даже свирель на мосту понравилась, кинулся в районную библиотеку, и на мое счастье мне выдали 3-й том. Вскоре, понимая, что выгляжу городским сумасшедшим, я все равно мычал на улице, в метро и в трамваях:

«Май жестокий с белыми ночами! / Вечный стук в ворота: выходи! / Голубая дымка за плечами, / Неизвестность, гибель впереди!»

Я не знал, как это сделано (да и сейчас не знаю, и никто, боюсь, не знает!), но понимал, что прекрасней этих строк не было и никогда не будет. Никакой обиды не возникало, что так написать не сможешь, была только радость. Если бы тогда в своем блоковском опьянении я, поскользнувшись, очутился бы под трамваем, все равно жизнь была бы прожита не напрасно: что главное я успел в ней испытать. Я чувствовал, что у Блока между строчками необыкновенно много воздуха, словно они распахнуты, как весной оконные рамы. Но, кроме ветра и простора, в блоковских стихах были хрупкость и незащищенность, хотя, как потом я узнал, человек он был физически крепкий, любил спорт и физическую работу, складывал печи.

Заметив, что я увлечен Блоком, мне подарили «стихи о Прекрасной Даме», написав на них: «Володя, жизнь — это борьба, помни об этом всегда». Время было полуголодное, военное, но, полюбив стихи Блока, я предпочел борьбе — лирику. Я и сегодня думаю: борьба умалет человека, а лирика, наоборот, возносит, и мне кажется, что Блок умер оттого, что не хотел бороться. Почти все его взрослые годы пришлись на *позорное*, во выражению Горького, предвоенное десятилетие (другими словами *Серебряный век*), когда была относительная свобода высказывания. А вести борьбу, тем паче *немую*, с самодержавием большевиков у него уже не было ни силы, ни желания. Помните:

«Пушкин, тайную свободу / Пели мы вслед тебе! / Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе!»

Версия же, будто Блока отравили, весьма сомнительна. Его уже арестовывали, и ничто бы не помешало чекистам его *шлепнуть*. А от пищи он отказывался, как мне кажется, потому, что не хотел жить. При вскрытии врачи удивились: организм 40-летнего человека был изношен так, будто он прожил в три раза дольше. Я живу долго, и при мне ругали многих поэтов, но по-

чему-то особенно бывало горько, если принимались за Блока.

В 1949 году на парижском конгрессе в защиту мира Фадеев заявил, что мы (т.е. большевики) не взяли бы в свое коммунистическое далёко даже прекрасного поэта Блока, если бы тот не написал «Двенадцати»; меня фадеевские слова удивили. «Двенадцать» действительно замечательная поэма, может быть, величайшая русская поэма. Но и без «Двенадцати» Блок — Блок! А ведь Фадеев, несмотря на свои высокие посты и связанные с ними поступки, поэзию знал и любил.

Куда больше обижало, что Ахматова под конец жизни стала отрицать Блока. Помню, в Голицыне ко мне пришел радостный Арсений Тарковский: «Володя, нас с вами похвалила Анна Андреевна». Я взял у него журнал «Вопросы литературы» и увидел, что в этом интервью Ахматова действительно в числе нескольких фамилий упомянула Тарковского и меня, но ничего не сказала об Иосифе Бродском (а я знал, что его она любила больше всех!), потому что Бродский был тогда в ссылке.

Я смутил Арсения Тарковского, высказав предположение, что Ахматова просто хотела нас ободрить, а на самом деле зачем мы ей, если даже Блок (о чем она мне не раз говорила) ей уже не нужен. Тарковский мне не поверил, но впоследствии были напечатаны воспоминания Никиты Струве «Восемь часов с Анной Ахматовой», в которых буквально повторены эти ахматовские слова, но надеюсь, что они все-таки были вызваны причинами внелитературного характера. Ведь поначалу Ахматова почитала Блока:

«Принесли мы Смоленской заступнице, / Принесли Пресвятой Богородице / На руках во гробе серебряном / Наше солнце, в мукe погасшее, — / Александра, лебедя чистого».

(Август, 1921)

Зато Пастернак и Есенин всегда любили Блока. С Есениным вроде бы все ясно. Некоторые есенинские недоброжелатели даже называли его *блоковским эпитомом* (что совсем несправедливо!), но несомненно, что Блок оказал на Есенина самое благотворное влияние. В своей автобиографии («О себе», октябрь 1925 г., т.е. за два месяца до самоубийства) Есенин писал: «Первый, кого я увидел, был Блок... Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта».

Неудивительно, что Пастернак, по стиху ничуть не похожий на Блока, не только под конец своей жизни создал цикл «Ветер» (четыре прекрасных стихотворных отрывка о Блоке), но и в прозе не раз писал о своем восхищении Блоком: «У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшая в себя судьба. Из этих качеств, и еще многих других, остановлюсь на одной стороне, может быть, наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, — на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений» («Люди и положения», 1956—1957). Так Блок соединял и, надеюсь, еще не однажды соединит поэтов совершенно разных воззрений. Таково уж свойство гения.

Владимир КОРНИЛОВ